

an Wert

Лев Туманов

Wie Papiergeld
Deutschland
zu...

Бумажный АД

Когда деньги теряют свою ценность,
человек теряет свою душу.

Лев Туманов

Бумажный Ад

<https://litres.ru/74263739>

SelfPub; 2026

Аннотация

Берлин, 1921 год. Деньги обесцениваются быстрее, чем их успевают напечатать. Доверие к государству тает вместе с зарплатой. А в воздухе уже пахнет будущей катастрофой — той, что приведет к власти чудовище и уничтожит целый мир.

Три судьбы. Три разных мира. Один ад.

Веймарская Германия — лаборатория апокалипсиса. Здесь деньги превращаются в бумагу, книги — в топливо, а человеческая жизнь — в предмет торга. Здесь отцы семейств кончают с собой в метро, а их дети играют в «деньги» из старых газет. Здесь рождается чудовище, которое через десять лет развяжет Вторую мировую.

«Бумажный Ад» — это не просто роман о гиперинфляции. Это история о том, как рушатся надежды, исчезает доверие и умирает человечность. Это предупреждение тем, кто считает, что стабильность — это навсегда.

«Бумага, на которой напечатаны деньги, не отличается от бумаги, на которой напечатаны обещания. И то, и другое сгорает одинаково быстро. Но пепел от обещаний — тяжелее.»

Содержание

Часть I: Призраки прошлого	4
Глава 2: Пустые обещания	25
Часть II: Адский карнавал	42
Глава 4: Золотой рот	57
Конец ознакомительного фрагмента.	61

Лев Туманов

Бумажный Ад

Часть I: Призраки прошлого

Глава 1: Золотой запас

Берлин, декабрь 1921 года. Воздух в кабинете банка «Дойче Банк унд Хандельсгезельшафт» пахнет чернилами, сургучом и застарелым табачным дымом — смесью, которая въелась в тяжелые портьеры и обивку кресел за долгие годы. Отто Хартманн сидит за своим столом из темного дуба, аккуратно пересчитывая пачки марок. Его пальцы, еще помнящие холод стали винтовки, двигаются с отработанной точностью: он берет стопку банкнот, перехватывает ее большим и указательным, щелкает ребром по столешнице, выравнивая края. Бумага шуршит сухо и почти торжественно.

За высокими, стрельчатыми окнами — серое небо, набрякшее снегом. По Унтер-ден-Линден снуют редкие прохожие в тяжелых пальто, а он здесь, в тепле и тишине, перебирает государственные бумаги, чувствуя их плотность и вес. Отто любит этот запах: запах порядка, запах твердой валюты, запах предсказуемого завтра.

На нем белоснежная рубашка, верхняя пуговица расстег-

нута, но галстук завязан по всем правилам строгого прусского образца. Запонки — серебряные, с инициалами «О.Н.», скупая фамильная гордость офицерского корпуса, который был, но больше не существует. Только один жест выдает напряжение: когда он задумывается, его большой палец правой руки машинально поглаживает крошечную вмятину на столешнице — след от удара кулаком, возможно, оставленный клерком в прошлом веке.

Дверь бесшумно приоткрывается, и в кабинет входит его начальник, фрау доктор Генриетта Фогель — женщина с седыми волосами, зачесанными в тугий пучок, в костюме мышиного цвета. Она, в отличие от Отто, держится со спокойствием человека, который видел смену императоров и объявление республики и не верит ни в одну из этих игр. Ее лицо с глубокими морщинами вокруг рта говорит о привычке принимать решения, о которых потом не сожалеют.

— Хартманн, — голос у нее сухой, как старый пергамент. — Вы видели утреннюю сводку? Английский фунт снова подскочил. Марка упала еще на две десятых процента к доллару.

Отто поднимает голову. Он старается, чтобы его лицо оставалось непроницаемым. Он встает, едва слышно стукнув коленями о ящик стола.

— Потери, госпожа доктор? — спрашивает он, как будто уточняя детали рутинной операции.

Она подходит к его столу и кладет на край тонкую желтую

бумагу. Отто видит цифры: курс доллара перевалил за две сотни марок. Месяц назад было сто восемьдесят. Еще вчера он думал, что это временное колебание.

— Потери? — переспрашивает Фогель, и в уголках ее тонких губ появляется едва заметная усмешка, больше похожая на гримасу боли. — Для экспорта это хорошо. Сильная марка убивает немецкую промышленность. Пусть падает. Мой муж, покойный, говорил: «Генриетта, чем дешевле наши деньги, тем дороже наши товары за границей».

— Да, — Отто машинально кивает, хотя где-то глубоко в животе появляется холодок. Он смотрит на пачки марок на столе. Каждая из них — его заработок. Каждая обесценивается с каждым тиканьем старых напольных часов в углу приемной. — Экспорт. Это хороший знак. Оздоровление.

Фогель смотрит на него с отеческой жалостью человека, который старше и, как ей кажется, мудрее. Она знает, что он — бывший офицер, что он верит в порядок, в то, что государство не обманет. Она видела таких, как он, уже много раз.

— Отто, — говорит она, наклоняясь к нему, понижая голос почти до шепота, чтобы не услышали остальные клерки за тонкой стенкой. — Если у вас есть сбережения в марках, я советую вам... ну, хотя бы купить на них что-то долговременное. Даже упаковку швейных иголок. Знаете, моя экономка сегодня утром купила мыло. За прошлую неделю его цена выросла в полтора раза. И это мыло, Отто, стоит пятнадцать марок.

Отто сглатывает. Ком в горле, сухой и колючий, мешает ответить сразу. Он не верит ей. Не может поверить. Его отец, банковский кассир, рассказывал ему о золотой марке, которая стоит за каждой банкнотой. Он держит в руке одну из пачек. На ней напечатано строгими готическими буквами: «Рейхсбанкнота. Одна тысяча марок». С обратной стороны — водяной знак, сложная гравюра, герб. Это не просто бумага. Это обещание.

— Деньги — это обещание государства, — тихо произносит Отто, скорее для себя, чем для Фогель. — Мы не можем сомневаться в своем государстве. Иначе что останется?

Фогель выпрямляется. Она уже пожалела, что заговорила. Некоторые уроки нужно проходить самому, и шрамы от них — лучшие учителя.

— Как знаете, Хартманн. — Она поворачивается и идет к двери, но останавливается у порога, бросив через плечо: — Будьте осторожны с оптимизмом. Завтра будет новый курс. И он будет хуже. Или лучше. Кто знает.

Она уходит, оставляя за собой запах камфары и сухой лаванды. Отто смотрит на дверь, которая мягко закрывается, поглощая звуки шагов. Он снова опускается на стул. Его рука тянется к левому внутреннему карману пиджака — там, под тканью, он чувствует краешек жесткого конверта. Военные облигации. Он купил их три года назад, вложив все наследство Марты — три тысячи марок, которые его тесть, мелкий нотариус из Штеттина, копил двадцать лет. Облига-

ции были привязаны к золотому запасу. Золотой запас не может исчезнуть. Золото — это вещь.

Он закрывает глаза на мгновение и представляет себе ту, ради которой он работает. Марта, его жена. Ее глаза, синие и ясные, всегда такие же спокойные, как вода в летнем пруду. Их сын, Ганс, на днях спрашивал, где можно потратить марку, чтобы купить шоколадку. Отто ответил тогда, что шоколад — это пустая трата, что нужно копить на будущее, на дом, на образование. Надо было просто купить шоколадку.

Он открывает глаза и резким, почти злым движением поддвигает к себе пачку марок. Руки начинают пересчитывать их снова: двадцать раз по пятьдесят банкнот в пачке. Аккуратно. По-немецки. Даже если мир рушится, в его кабинете должен быть порядок. Иначе кто он такой, если не клерк банка? Если не мужчина, у которого есть руки и голова? Отто поглаживает вмятину на столе, нажимает на нее пальцем, чувствуя гладкое, вытертое до блеска дерево. За окном начинает падать редкий, колючий снег, который ветер швыряет в стекло, как песок.

На окраине Берлина, в районе Веллингдорф, где дома стоят вплотную друг к другу, а дворы похожи на каменные колодцы, Грета Вайс сжимает в кармане своей единственной приличной юбки несколько бумажных марок. Она швея на фабрике по пошиву нижнего белья, что находится на соседней улице — три этажа кирпичной безликой постройки, от-

куда всегда доносится монотонный гул швейных машинок, похожий на жужжание гигантского, раздраженного насекомого.

Ее рабочие пальцы, мозолистые от ткани и ниток, ощущают шершавость банкнот — зарплата за две недели, которую она получила только что в конторе. Двести семьдесят марок. На прошлой неделе этого хватило бы на две недели продуктов для нее и детей. На этой — она боится думать, на сколько хватит.

Грете тридцать четыре, но выглядит она на все сорок пять: под глазами — синяки от хронической усталости, а светлые, выцветшие волосы собраны в узел, который постоянно норовит рассыпаться. Сегодня на ней — темно-синее шерстяное платье, заштопанное на локтях, и грубые чулки. Единственное, что напоминает о прежней жизни — это тонкое золотое колечко на правой руке, которое она носила, не снимая, с шестнадцати лет, со свадьбы. Муж погиб в 1916-м под Верденом. Осталась только эта память, да дети — два мальчика и девочка, младшей, Эльзе, всего семь.

Она выходит из проходной фабрики, и холодный ветер тут же хлещет ее по лицу. На улице сыро, серо. Грета не останавливается, не пересчитывает деньги — она знает, что каждая минута на счету. Она почти бежит, спотыкаясь на неровной брусчатке, обгоняя редких прохожих, спешащих по своим делам. Рынок, вернее, то, что от него осталось, находится в двух кварталах — несколько прилавков под железным наве-

сом, за которыми торгуют съестным.

Когда она добирается до мясной лавки Гросса, ее сердце уже колотится в горле. В очереди — несколько человек. Грета становится в хвост, натягивая потрепанную шаль на плечи. Рядом с ней пожилой мужчина в поношенном сюртуке, с седой бородой, перебирает в руках монеты. Он выглядит как завсегдатай библиотеки или бывший профессор — дрожащие руки, красные от холода, на которых видны пигментные пятна.

Грета пытается успокоиться. Она должна купить: хлеб, килограмм муки, немного сала и, может быть, если повезет, молока. Двести семьдесят марок — большие деньги. По крайней мере, раньше были большими.

— Госпожа, — обращается к ней продавец, толстый мужчина с красным лицом, в заляпанном фартуке, когда ее очередь наконец подходит. Он смотрит на нее без интереса, как на номер, как на часть механизма потребления. — Что вам?

— Килограмм ржаного хлеба, — говорит Грета, стараясь, чтобы голос звучал твердо. — И двести граммов шпика. Молоко, если есть.

Продавец хмурится. Он косится на ценник, который лежит рядом с весами — картонка, на которой мелом написана цифра. Грета смотрит на ценник и чувствует, как у нее перехватывает дыхание. Цифра на полтора раза больше, чем была вчера. Она знает, что с утра цены уже выросли, но это — неожиданно.

— Сто двадцать марок за килограмм хлеба, — говорит продавец. — Шпик — триста пятьдесят за кило. Молока нет.

— Вчера было семьдесят! — вырывается у Греты. Голос ее становится тонким и визгливым, она сама не узнает его. — Вы что, с ума сошли?

Продавец пожимает плечами. Его лицо не выражает ни капли сочувствия. Он привык к таким сценам.

— Вчера было вчера. Сегодня привезли новый товар. Платите или отходите. Не задерживайте очередь.

Женщина, стоящая позади Греты, нетерпеливо вздыхает. Грета чувствует ее дыхание на своей шее. В голове — пустота, а затем — гнев, такой же острый и ледяной, как ветер. Она хочет закричать, бросить эти жалкие бумажки в лицо продавцу, сказать, что он грабитель, что он пользуется бесстыдным положением.

Но ее пальцы уже сжимают деньги. Она понимает: если она сейчас уйдет, детям нечего будет есть. Вечером они придут с улицы, голодные, и будут смотреть на пустую миску. Она не может позволить себе гордость. Гордость оставили на полях Вердена, вместе с именем мужа.

— Возьмите, — говорит она сквозь зубы, бросая на прилавок несколько банкнот. — Хлеб. Кусок хлеба.

Она протягивает ему деньги. Продавец берет их, пересчитывает. Его жирные, испачканные мукой пальцы ощупывают бумагу с каким-то странным презрением. Он дает ей сдачу — несколько медных монет, которые звенят, падая на дере-

вянный прилавок. Грета поднимает их, но не глядя, машинально. Она берет хлеб — горячий, тяжелый, пахнувший жизнью — и прижимает его к груди, к тому месту, где стучит сердце.

Выходя из-под навеса, она слышит, как пожилой мужчина, стоявший позади нее, говорит продавцу:

— У меня пятьдесят марок. Мне бы хоть полбуханки.

— Пятьдесят? — переспрашивает продавец, и в его голосе звучит холодное равнодушие. — Идите, господин, в суповую кухню. Там дают бесплатный хлеб раз в день. Еще и суп наливают. Если успеете.

Грета сжимает челюсти так, что у нее начинает болеть челюстная кость. Она проходит мимо старого профессора, не глядя на него. Она не может себе позволить жалеть других. Если она начнет жалеть всех, кто голоден, она сойдет с ума. Она должна думать только о своих детях. О голодных ртах, которые ждут ее в холодной комнате.

Когда она заворачивает в свой переулок, темный и воняющий мочой и гнилой капустой, она останавливается, прислоняется спиной к облупленной стене. Хлеб в руках еще теплый, пробивается через ткань пальто и юбки. Грета зажмуривается. Она представляет себе лицо мужа. Он был молод, когда уходил — двадцать пять, со смеющимися глазами. Он говорил ей: «Грета, я вернусь. Мы купим собственный дом. Будут деньги. Мы будем жить хорошо». Он умер за эту иллюзию. Она выжила. Но зачем?

Она отталкивается от стены и шагает дальше, к дому, где на четвертом этаже ее ждут дети — Лиза, Курт и маленькая Эльза. Они не знают, что их мать не купила сегодня молока. Она скажет, что его не было. Она научится врать, потому что правда — это слишком дорого.

В то же время, на другом конце Берлина, в ресторане отеля «Адлон», за столиком, уставленным серебряными приборами, сидят четверо мужчин в дорогих, безупречно сшитых костюмах. За высокими, от пола до потолка, окнами — Тиргартен, укрытый серым зимним покрывалом, и широкая аллея, по которой снуют редкие автомобили. Внутри ресторана — тишина, которую нарушает лишь приглушенный звон бокалов и далекий, едва слышный струнный квартет.

Фридрих фон Райхенбах, высокий, худощавый, с холодными голубыми глазами и сединой на висках, сидит во главе стола. На нем черный сюртук, белоснежный жилет, а на шее — тонкий платиновый портсигар на цепочке, который он время от времени нервно поглаживает. Он — государственный чиновник, советник в Министерстве финансов. Ему сорок семь, он принадлежит к старой аристократической фамилии, которая дала Германии несколько генералов и одного канцлера. Его же карьера — дипломатическая, скрытая от глаз публики, но не менее важная.

Рядом с ним — промышленники. Господин Крупп-младший, представитель сталелитейной империи, массивный, с

красным лицом и грубыми, короткими пальцами, которые он сжимает в кулак, когда говорит. Господин Штреземанн из угольного синдиката — человек с тонкими, пронзительными глазами, в золотых очках. И еще один, молодой, но уже разбогатевший на военных поставках, — Эмиль Вальтер, чей костюм пахнет дорогим одеколоном и новыми деньгами.

— Господин фон Райхенбах, — начинает Крупп, наливая себе бордо из тяжелого графина. Его голос, низкий и прокаленный, звучит как гул работающего завода. — Давайте без дипломатии. Мы платим налоги, и мы хотим знать, когда правительство перестанет печатать эту... — он ищет слово, — эту тряпку. Наши заводы переполнены заказами, но мы не знаем, в чем платить рабочим. В деньгах, которые обесцениваются, пока они идут с фабрики в магазин? Мы рискуем, вкладывая средства в модернизацию, если марка упадет еще на десять процентов.

Фридрих медленно поднимает глаза на Круппа. Его лицо остается невозмутимым. Он жует кусочек телятины с трюфелями, и только на мгновение, мельком, в его глазах появляется искра — не обиды, а раздражения.

— Господин Крупп, — отвечает он, ставя вилку на тарелку с безупречной аккуратностью. — Ваши заводы в безопасности. Более того, вы никогда не получали столько заказов от государства. Армия, хоть и ограничена, требует обмундирования. Железные дороги требуют рельсов. Строительство жилья для ветеранов — это тоже ваш хлеб.

Он обводит взглядом стол. Его голос, ровный и спокойный, звучит как хорошо настроенный инструмент.

— Инфляция, — продолжает он, — это инструмент. Мы должны выполнить репарационные обязательства. Французы и англичане требуют золота, которого у нас нет. Мы можем дать им марки. Пусть берут. Чем больше мы печатаем, тем меньше долг. Это экономия для государства.

Штреземанн снимает очки и начинает протирать их салфеткой. Его глаза, близорукие и усталые, смотрят на Фридриха с сомнением.

— Экономия? — переспрашивает он. — Я слышал, что в министерстве есть люди, которые говорят о «порочном круге». Что печатный станок нас погубит. Мы сбрасываем долги, но мы роняем и нашу покупательную способность. Мои рабочие не смогут купить мой уголь, если он будет стоить миллион марок за тонну. А если они не могут купить, мы не можем платить им зарплату. Круг, Фридрих. Порочный круг.

Фридрих улыбается. Улыбка — холодная, формальная, как приветствие на дипломатическом приеме. Он кладет руку на стол, пальцы его белые и длинные, с безупречными ногтями. Он понижает голос, так что его слышат только трое за столом.

— Знаете, что будет, если мы остановим печатный станок? — говорит он почти шепотом. — Мы не сможем платить чиновникам. Полиция уйдет с улиц. Начнется революция, хуже той, что была в 1918. Вы хотите, чтобы ваши заво-

ды захватили советы рабочих? — Он делает паузу. — Я тоже не хочу. Поэтому мы будем печатать. И мы будем платить. А когда долги будут списаны — мы введем новую валюту. И все станет хорошо. Просто нужно пережить этот период.

Молодой Вальтер, который до сих пор молчал, внимательно разглядывая бокал с водой, поднимает голову. В его глазах — острый, почти хищный интерес.

— Период, — повторяет он. — А как быть тем, у кого сбережения в марках? Тем, кто не имеет заводов или акций? Вы переживаете период, господин фон Райхенбах, а миллионы людей просто умрут от голода.

Фридрих смотрит на него с легким, едва заметным превосходством.

— Я не знаю, господин Вальтер, — отвечает он, — как бы вы хотели, чтобы я решал эту проблему. Это — цена стабильности. Мы не можем спасти всех. Мы можем только спасти государство. А государство — это вы. И я. И наши заводы. Остальное — это... детали.

Он поднимает свой бокал и делает глоток воды. Его глаза на мгновение останавливаются на улице, где в серой дымке зимнего дня бредут люди в потрепанных пальто. Но он ничего не чувствует. Это не его проблема. Он сделал свой выбор: спасение государства требует жертв. Это аксиома, которой он научился в университете, читая Гегеля. Фридрих отворачивается от окна и снова обращает свое внимание на собеседников. Разговор переходит на цены на сталь и уголь.

Вопросы о марке временно забыты, отложены в сторону до следующего заседания кабинета.

Вечером того же дня Отто Хартманн возвращается домой. Его квартира находится на третьем этаже старого дома в Шарлоттенбурге — не богатый, но достойный район, где живут служащие, врачи и бывшие офицеры. Подъезд пахнет нагретыми чугунными батареями и кислым запахом капусты, что доносится из квартир. На стенах — облупившаяся штукатурка, которую хозяин дома не спешит обновлять.

Отто поднимается по лестнице, каждый шаг давался ему с трудом, как будто ноги налились свинцом. В кармане его пальто лежат пачки марок — зарплата, которую он получил сегодня. Он устал, но старается держать спину прямой. Он знает, что Марта будет волноваться. Она всегда волнуется, и он не может показать ей свою тревогу. Он должен быть скалой.

Он открывает дверь своим ключом, и из прихожей доносится запах тушеного мяса — она купила говядину, когда цены были еще приемлемыми. На вешалке висят пальто детей, на полу — их ботинки. Он слышит голоса: старший сын, Ганс, семнадцати лет, что-то читает младшему, а Марта хлопчет на кухне. Отто закрывает дверь и снимает пальто, аккуратно вешая его на крючок.

— Папа! — доносится крик из гостиной. — Папа пришел!
В гостиную вбегает Ганс — высокий, худой, с рыжеваты-

ми волосами, которые он постоянно пытается зачесать назад. Он выглядит умным и серьезным, как и подобает будущему юристу, которым он хочет стать. Следом за ним — Курт, которому пятнадцать, и маленькая Анна, которой всего десять, с бантами в волосах.

Отто улыбается им, но улыбка выходит натянутой. Он обходит детей и идет в столовую, где за накрытым столом их ждет Марта. Она стоит у буфета, поправляя вышитую салфетку. На ней строгое, но изящное платье из темно-синего сукна, с небольшим белым воротничком. Ее волосы, темные с проседью, уложены в пучок. Она выглядит старше своих лет, и когда она поворачивается к мужу, Отто видит тени усталости под ее глазами.

— Отто, — говорит она, подходя к нему и целуя в щеку. Она пахнет мылом и выпечкой. — Как прошел день?

Он садится за стол, снимает запонки и кладет их на край тарелки. Марта приносит суп — жидкий, с клецками. Отто берет ложку.

— Нормально, — отвечает он, стараясь, чтобы голос звучал бодро. — Работа. Документы. Старый добрый банк.

— У нас есть новости? — спрашивает Марта, сядя напротив него. — Цены, слышала, снова растут. Фрау Роттерманн, наша соседка, говорила, что ее муж принес сегодня домой зарплату, и она не смогла купить на нее даже половину обычного набора продуктов.

Отто отрывает взгляд от тарелки. Он чувствует, как в нем

поднимается раздражение. Не на Марту, а на ситуацию. На этот мир, который перестал подчиняться правилам. Ему хочется сказать ей, что все хорошо, что правительство знает, что делает. Но он вспоминает глаза Генриетты Фогель сегодня утром, ее предупреждение.

— Марта, — говорит он, стараясь придать своему голосу твердость. — Мы не должны поддаваться панике. У нас есть кое-что надежное.

Он отодвигает тарелку, встает из-за стола и идет к секретеру из темного дерева, который стоит в углу комнаты. Он открывает ящик, ключ висит у него на цепочке. Его руки, привычные к пересчету банкнот, нащупывают нужную бумагу. Он вынимает конверт, толстый, с сургучной печатью, и несет его к столу.

— Военные облигации, — говорит он, кладя конверт на стол перед женой. — Четыре штуки. На три тысячи марок. Они обеспечены золотым запасом. Настоящие деньги, Марта.

Он вскрывает конверт, и на стол выпадают четыре прямоугольных листа плотной бумаги с водяными знаками, с красивыми печатями и готическими буквами. В центре каждой — обещание: Рейх выплатит предъявителю через двадцать лет номинальную сумму золотом. Он видит, как Марта смотрит на них. Ее глаза, сначала тревожные, начинают смягчаться. Она верит ему. Она всегда ему верила. Он — ее офицер, ее муж, ее опора.

— Наше будущее, — говорит Отто, сжимая руку жены. — Это наша подушка безопасности. Если марка упадет еще больше, эти облигации не пострадают. Они привязаны к золоту. Золото всегда в цене.

Она переводит взгляд с облигаций на его лицо. Отто видит, как она хочет поверить. Как она борется с паникой, которая нарастает в ней. Она кивает, смахивая невидимую слезу.

— Ты прав, Отто, — шепчет она. — Ты всегда был прав. Ты знаешь, что делаешь.

Она встает, обходит стол и обнимает его. Ее руки, мягкие и теплые, обхватывают его шею. Отто закрывает глаза и чувствует, как в груди у него разливается тепло. Но где-то в глубине, в той части души, которую он прячет ото всех, звучит голос Фогель: «Золотой запас может исчезнуть». Он отгоняет этот голос. Он отгоняет его, как надоедливую муху.

— Завтра, — говорит Отто, открывая глаза, — я куплю детям немного сладостей. Мы должны верить в лучшее. Мы должны верить в нашу страну.

Марта кивает, прижимаясь к нему. За окном темнеет, и на стеклах появляются морозные узоры, похожие на трещины. В соседней комнате Ганс учит младшего брата играть в шахматы. Анна поет какую-то песенку, которую они пели до войны. Отто стоит посреди этой сцены, сжимая в руках конверт с облигациями, и пытается убедить самого себя, что это конец истории — счастливый конец. Но он чувствует, что

это всего лишь начало. Начало чего-то, что он не может себе представить.

Грета сидит в своей комнате на четвертом этаже — девятиметровом пространстве с низким потолком, узким окном, выходящим во двор-колодец, и старой, скрипучей кровати. Стены покрыты обоями в бледный цветочек, которые уже пожелтели и местами отклеились. В углу — чугунная печка, которую она топит обрезками досок и угольной пылью, собранной на улице. Запах в комнате — тяжелый, смешанный: сырость, тряпки, кипящий суп и немытое тело.

За столом сидят ее дети. Старшей, Лизе, тринадцать лет, и у нее глаза отца — широкие, серые, с длинными ресницами. Она уже понимает, что происходит, но боится спрашивать. Курту, одиннадцати, и он пытается казаться взрослым: сидит с прямой спиной, не жалуется, хотя в его глазах виден голод. Маленькой Эльзе семь, она смотрит на пустую миску с надеждой, еще не понимая, что это — не просто пустая миска, а знак того, что они все проигрывают в этой игре.

Грета ставит на стол хлеб и нож. Она нарезает его на тонкие ломти, стараясь, чтобы каждый получил поровну. Никто не говорит ни слова. Только слышно, как нож скрипит по корке.

— Мама, — вдруг говорит Лиза, глядя на хлеб. — А мы будем есть только это? Без супа?

Грета чувствует, как у нее сжимается горло. Она хочет

сказать правду, но не может. Не сейчас. Она берет кусок хлеба и кладет его на тарелку Лизы.

— Сегодня вечером будет суп, — говорит она, стараясь, чтобы голос звучал спокойно. — Я приготовлю. Надо только потерпеть.

Она садится на стул рядом с печкой и берет в руки платье, которое перешивает для заказчицы. Ткань — нежный кремовый шелк, с вышивкой на вороте, которая горит в тусклом свете керосиновой лампы. Богатая дама из соседнего района, такая же тонкая и изящная, как это платье, заплатила ей за работу... завтра. Завтра, а не сегодня. Грета знает, что завтра эти деньги будут стоить меньше. Но она не может отказаться.

Ее пальцы, привычные к игле и нитке, начинают работать, прокалывая ткань. Она укалывает палец, и на белый шелк падает крошечная капля крови, которая сразу же впитывается, оставляя бурое пятно. Грета смотрит на него, но не чувствует боли. Она привыкла к боли. Единственное, что она чувствует — это страх. Но страх — это для тех, у кого есть выбор. У нее нет выбора.

В углу комнаты, на подоконнике, стоит фотография в потрепанной рамке. На ней — ее муж, Ганс Вайс, в военной форме. Он улыбается, обнимая ее за плечи. На обороте — дата: 1914, день их свадьбы. Он писал ей письма с фронта, длинные и полные надежд. «Грета, — писал он, — когда я вернусь, мы купим дом. Я найду работу. Мы будем жить хорошо. Только подожди меня. Береги детей. Я обещаю тебе

лучшую жизнь».

Грета отрывает взгляд от платья и смотрит на фотографию. В горле у нее пересыхает. Она хочет плакать, но слезы не идут. Она выпила их все за последние пять лет. Она не может позволить себе плакать. Она должна быть сильной.

— Мама, — вдруг говорит маленькая Эльза, поднимая на нее глаза, полные недетской серьезности. — А папа придет? Он обещал купить мне конфеты.

Грета на мгновение замирает. Ее рука, сжимающая иглу, начинает дрожать. Она смотрит на дочь и не знает, что сказать. Как сказать ей, что папа не придет, что папа остался во Франции, в грязи, в крови, и что обещания, которые он давал, — это всего лишь обещания, которые умирают вместе с солдатами на поле боя.

— Папа... — Голос Греты срывается. Она кашляет. — Папа сейчас далеко, Эльза. Но он смотрит на нас. Он хотел, чтобы мы жили хорошо. Поэтому мы будем жить. Хорошо. Поняла?

Она замечает, как Лиза смотрит на нее с болью и пониманием, которое ей не по возрасту. Лиза знает, что отец не вернется. Она уже взрослая. Она знает, что мир — это не то, что они показывают в кино. Мир — это холодные стены, голодные желудки и обещания, которые никто не выполняет.

Грета снова берется за платье. Она больше не смотрит на фотографию. Ей нужно закончить работу до утра, чтобы забрать деньги и успеть купить хоть что-то, пока они что-то

стоят. В голове у нее холодно и пусто. Она больше не думает о морали, о чести или о том, что правильно. Она думает только о том, как прокормить троих детей. И когда она засыпает под утро, в ее руках все еще сжата игла, а на шелке — застывшее пятно крови, похожее на маленькую, поблекшую звезду.

Глава 2: Пустые обещания

Февраль 1922 года. Берлин замер в ожидании — неопределенном, зыбком, как лед на Шпрее, который с каждым днем становился тоньше, но все еще держал. В конференц-зале банка «Дойче Банк унд Хандельсгезельшафт» собрались старшие клерки и управляющие отделов — человек пятнадцать в темных костюмах и накрахмаленных воротничках. Воздух в комнате, увешанной портретами прежних директоров, был тяжелым от запаха пота, табака и тревоги.

Отто Хартманн сидел в третьем ряду, сжимая в руках тонкую папку с отчетностью за январь. Его костюм, коричневый, шерстяной, сидел на нем как влитой — Марта умела ухаживать за тканью так, что она служила годами. Но сегодня он чувствовал себя не в своей одежде. Он чувствовал себя ребенком, который зашел во взрослую комнату, где все знают какую-то тайну, а ему не говорят.

За столом президиума сидел главный управляющий, господин Вольфганг Мейер, человек с лицом, изрезанным глубокими морщинами, похожими на русла высохших рек. Он был из тех чиновников, которые начинали свою карьеру еще при кайзере и привыкли к тому, что государство — это опора, а не проблема. Сегодня его лицо было землистого цвета. Он перебирал бумаги и молчал — и это молчание висело над

головами собравшихся, как дамоклов меч.

— Господа, — наконец произнес Мейер. Голос его звучал глухо, с гортанной хрипотцой. — У меня для вас печальные новости. Сегодня утром было созвано экстренное заседание кабинета. Правительство приняло решение... — он сделал паузу и обвел взглядом комнату, — ...не повышать налоги.

В комнате повисла гробовая тишина. Кто-то кашлянул. Отто слышал, как его собственное дыхание стало прерывистым. Он знал, что это значит. Он чувствовал это каждой клеткой своего тела.

— Мы не повышаем налоги, — повторил Мейер, словно пробуя слова на вкус. — Это делается для того, чтобы не душить промышленность. Чтобы сохранить рабочие места. Чтобы не спровоцировать социальный взрыв. Мы, банкиры, понимаем это. Мы понимаем, что правительство пытается найти баланс между интересами бизнеса и социальной стабильностью.

— Но как же покрыть дефицит? — раздался голос из задних рядов. Молодой клерк, бледный, с дрожащими руками, задал вопрос, который висел в воздухе. — Если мы не повышаем налоги, откуда возьмутся деньги на выплату зарплат, на репарации, на государственные программы?

Мейер медленно поднял глаза на говорившего. Его взгляд был тяжелым, как свинец.

— Государство будет покрывать дефицит... эмиссией. Печатный станок будет работать в усиленном режиме. Новые

деньги будут поступать в обращение. Да, это означает инфляцию. Но инфляция — это временная мера. Правительство уверяет нас, что через полгода ситуация стабилизируется.

Отто сидел, не дыша. Он слышал слова Мейера, но его разум отказывался принимать их. Эмиссия. Новые деньги. Инфляция. Эти слова звучали как похоронный звон. Он вспомнил утреннюю сводку: курс доллара подскочил до двухсот шестидесяти марок. Он вспомнил, как Фогель предупреждала его о мыле. Он сжал папку так сильно, что бумага смялась под пальцами.

— А что с золотым запасом? — спросил кто-то из старших клерков. — У нас есть резервы. Мы можем обеспечить марку золотом.

Мейер покачал головой, и его движение было похоже на погребальный кивок.

— Золотой запас сокращается. Мы вынуждены тратить его на репарации. Англичане и французы принимают только золото. Мы отдаем им наши резервы, а взамен... — он развел руками, — ...получаем время. Мы покупаем время. Надеюсь, вы понимаете, что это означает.

В комнате повисла тяжелая, вязкая тишина. Отто смотрел на свои руки, сжимающие папку. На его пальцах выступил пот. В глубине души он знал, что это — начало конца. Он знал, что, если правительство будет печатать деньги без золотого обеспечения, марка обрушится. Он знал это так же

ясно, как знал, что земля твердая, а небо — синее. Но он отказывался признавать это.

После совещания Отто вышел в коридор. Стекло-нные кабинета отражали серый, унылый свет февральского дня. Он остановился у окна, прижимая ладонь к холодному стеклу. На улице, на Унтер-ден-Линден, люди спешили по своим делам. Они еще не знали, что правительство только что обрекло их на медленное удушье. Они еще надеялись.

Отто почувствовал, как к нему подошла Фогель. Она стояла рядом, сложив руки на груди. Ее лицо было бесстрастным, как маска.

— Вы слышали, Хартманн? — спросила она, не глядя на него. — Эмиссия. Вы понимаете, что это значит для ваших сбережений?

Отто медленно повернулся к ней. Его лицо было бледным, но он старался держать спину прямой.

— У меня есть облигации, — сказал он, и его голос прозвучал глухо, как из колодца. — Они обеспечены золотом. Золотой запас. Это — реальные деньги.

Фогель посмотрела на него с той же смесью жалости и усталости, что и в прошлый раз.

— Золотой запас тает, Отто, — сказала она. — Печатный станок работает. Новые деньги обесценивают старые. Через год ваши облигации не будут стоить даже той бумаги, на которой они напечатаны.

Она повернулась и пошла по коридору, оставляя его од-

ного. Отто смотрел ей вслед, и в его груди разрасталось что-то темное, липкое, похожее на страх. Он ощутил, как его желудок сжался от внезапной тошноты. Он отошел от окна и направился в свой кабинет. Он волочил ноги, как старик, хотя ему было всего сорок. За спиной он слышал голоса других клерков, которые тоже обсуждали решение правительства. В их голосах была паника. Он закрыл дверь своего кабинета и сел за стол. Он не мог работать. Он смотрел на пачки марок, лежащие перед ним, и видел, как они становятся пустыми, как бумага сгорает в огне.

На улице Кайзер-Вильгельм-штрассе, в рабочем районе Берлина, очередь за хлебом растянулась на добрых триста метров. Холодный, пронизывающий ветер дул прямо в лица людей, заставляя их кутаться в пальто и шали. Небо было серым, тяжелым, как свинцовая крышка, и от этого все вокруг казалось лишенным цвета — ни одного яркого пятна, ни одной улыбки.

Грета стояла уже два часа. Ее ноги онемели, пальцы рук, сжимающие кошелек с деньгами, почти потеряли чувствительность. Она не спала прошлой ночью — она работала над платьем для заказчицы, заканчивая вышивку на воротнике. Ее глаза, воспаленные от бессонницы и ветра, неотрывно смотрели на дверь булочной, из которой время от времени выходили люди с буханками в руках, сжатыми в кулаки, как последнее сокровище.

Она слышала, как люди вокруг переговариваются. Голоса звучали глухо, приглушенно — никто не смеялся, никто не шутил. Очередь была похожа на процессию приговоренных.

— Слышали? — сказала женщина, стоящая впереди Греты, поворачиваясь к ней. Ее лицо было истерзано морщинами и тревогой. — Сегодня утром хлеб подорожал еще на пятнадцать марок. Совсем с ума сошли. Они хотят заморить нас голодом.

Грета кивнула, не в силах говорить. Ее голосовые связки замерзли. Она смотрела на дверь булочной и считала минуты. Очередь двигалась медленно — еще четверть часа, еще полчаса. Она представляла своих детей, сидящих в холодной комнате, и чувствовала, как внутри нее нарастает отчаяние.

Вдруг позади нее раздался крик. Грета обернулась и увидела, что пожилая женщина, стоявшая в десяти шагах от нее, пошатнулась и начала медленно оседать на землю. Ее лицо было мертвенно-бледным, губы посинели. Она упала на колени, а затем рухнула на холодную брусчатку, как мешок с костями.

— Боже мой! — закричала женщина рядом с упавшей. — Помогите! Ей плохо!

Толпа заволновалась. Люди начали оглядываться, но никто не двигался с места. Очередь замерла, но никто не попытался помочь. Они смотрели на упавшую женщину с ужасом, но также и с раздражением — она замедляла движение.

Грета стояла, не двигаясь. Она смотрела на пожилую жен-

щину, лежащую на брусчатке. Ее глаза были открыты, но ничего не видели. Ее руки, худые и дрожащие, все еще сжимали кошелек, из которого выпали несколько медных монет, звякнувших о камень. Грета смотрела на эти монеты и чувствовала, как в ней поднимается что-то темное, что-то, что она не могла контролировать.

— Дайте же ей место! — крикнул кто-то из очереди. — Она умирает!

Но никто не тронулся с места. Никто не шагнул к упавшей. Все стояли, вцепившись в свои места, боясь потерять очередь. Ветер свистел, заывая между домами, и этот звук заглушал стоны женщины.

Грета отвернулась. Она почувствовала, как к горлу подступил комок, но она проглотила его. Она не могла себе позволить жалеть. Если она шагнет в сторону, чтобы помочь, она потеряет свое место в очереди. Через минуту дверь булочной откроется, и она сможет купить хлеб. Если она уйдет, ее дети будут голодать сегодня вечером.

— Только не сейчас, — прошептала она, не отрывая взгляда от двери булочной. — Пожалуйста, только не сейчас.

Очередь снова начала двигаться. Кто-то позвал полицейского, который стоял на углу улицы, и он подошел к упавшей женщине, наклонился над ней, но Грета не видела, что произошло дальше. Она вошла в булочную, где воздух был теплым и пах свежим хлебом, и положила на прилавок свои дрожащие деньги. Она купила три буханки ржаного хлеба —

одну на сегодня, две на завтра, если цены подскочат снова.

Когда она вышла из булочной, упавшей женщины уже не было на улице. Только монеты остались лежать на брусчатке, поблескивая в сером свете дня. Грета посмотрела на них, и в ее душе что-то оборвалось. Она шагнула через монеты и пошла дальше, сжимая хлеб в руках. Очередь за ее спиной все еще стояла, такая же безмолвная и застывшая, как памятники на кладбище.

Фридрих фон Райхенбах сидел в своем кабинете в Министерстве финансов. Комната была просторной, с высокими потолками и массивной дубовой мебелью. Стены были увешаны картами и графиками, которые показывали состояние германской экономики. На столе у Фридриха стоял графин с водой и серебряный поднос для писем. Его кабинет был оазисом порядка и холодной элегантности в хаосе, который царил снаружи.

Он смотрел на график падения марки, который лежал перед ним. Линии бежали вниз, словно водопад, с каждым днем ускоряясь. Фридрих знал, что это — не просто цифры. Это — жизни. Миллионы жизней, которые превращались в пыль под колесами его политики. Но он не позволял себе думать об этом. Он был чиновником. Он был государственным служащим. Его долг — спасти государство, а не отдельных людей.

Дверь кабинета открылась, и вошел его секретарь, моло-

дой человек в безупречном костюме, с лицом, лишенным эмоций.

— Господин фон Райхенбах, — сказал он, — только что пришла телеграмма из Парижа. Французская сторона требует от нас репарации углем. Они ссылаются на договоренности в Версале. Они говорят, что мы не выполнили свои обязательства за последний квартал.

Фридрих поднял глаза от графика. Его лицо осталось бесстрастным, но в глубине его глаз мелькнула искра холодного гнева.

— Углем, — повторил он, растягивая слово, словно пробуя его на вкус. — Они хотят, чтобы мы отдавали им наш уголь. Наше топливо. Наше будущее. — Он усмехнулся, но в его усмешке не было веселья. — Они прекрасно знают, что у нас нет угля. Мы отдаем им все, что можем.

— Что мы ответим, господин фон Райхенбах? — спросил секретарь.

Фридрих встал из-за стола и подошел к окну. За стеклом простирался Берлин — серый, холодный, заснеженный. Он смотрел на дым, поднимающийся из труб заводов, и видел в нем не жизнь, а потребление. Потребление ресурсов, времени, человеческих жизней.

— Ответим, — сказал он, поворачиваясь к секретарю. — Ответим, что мы готовы выполнить наши обязательства. — Его голос стал жестким, металлическим. — Мы увеличим эмиссию. Мы напечатаем столько марок, сколько потребует-

ся. Пусть берут бумагу. Пусть берут наши обещания. Они ничем не отличаются от угля.

Секретарь замер, словно не понял, что сказал его начальник. Он смотрел на Фридриха с легким изумлением.

— Господин фон Райхенбах, — сказал он, — но если мы увеличим эмиссию, марка упадет еще сильнее. Инфляция ускорится. Народ...

— Народ? — перебил его Фридрих, и в его голосе зазвучала сталь. — Народ уже страдает. И он будет страдать еще больше, если мы не выполним репарации. Если мы не выполним репарации, французы войдут в Рур. Они возьмут уголь силой. Они парализуют нашу промышленность. Тогда революция будет неизбежна. Я выбираю меньшее зло. Мы будем печатать.

Он подошел к столу и сел, взял перо и начал писать приказ. Его рука была твердой, почти механической. Секретарь стоял и молчал. Он знал, что не имеет права спорить.

— И еще, — сказал Фридрих, не поднимая глаз. — Подготовьте доклад для кабинета. Я хочу, чтобы они поняли: это не мой выбор. Это выбор обстоятельств. Я всего лишь исполняю свой долг.

Секретарь кивнул и вышел из кабинета. Фридрих остался один. Он закончил писать приказ, отложил перо и откинулся на спинку кресла. Его глаза уставились в потолок, но он не видел ничего, кроме бесконечного потока цифр, которые говорили ему, что он делает правильную вещь. Цифры

не лгут. Цифры — это единственная реальность, которую он признавал.

Он снова посмотрел на график падения марки. Кривая уходила все глубже, и он знал, что она уйдет еще дальше. Он позволил себе на мгновение закрыть глаза и представить те лица, которые когда-то мелькали в его докладах — лица изможденных женщин, голодных детей. Но он быстро прогнал это видение. Он не мог позволить себе чувствовать. Чувства — это роскошь, которую государство не может себе позволить.

Когда он открыл глаза, его лицо снова стало холодным и бесстрастным. Он взял телефонную трубку и набрал номер Рейхсбанка.

— Это фон Райхенбах, — сказал он. — Увеличьте эмиссию на двадцать процентов. Да, немедленно. И не задавайте вопросов.

Он повесил трубку и вернулся к своей работе, погружаясь в мир цифр, где все было просто и предсказуемо, в отличие от мира за окном, который каждый день становился все менее понятным.

Отто шел по улице, сжимая в руках конверт с выплатой по облигациям. Его лицо было бледным, глаза покраснели от напряжения. Он не смотрел по сторонам, не видел людей, которые спешили мимо него по своим делам. Он видел только цифры. Цифры, которые говорили ему, что его мир ру-

шится.

Отто получил сегодня утром письмо из банка. Ежемесячная выплата по военным облигациям. Он открыл конверт дрожащими руками, ожидая увидеть сумму, которая должна была покрыть их расходы на месяц. Вместо этого увидел цифру, которая была на тридцать процентов меньше, чем месяц назад. Он не понял сначала и перечитал письмо трижды, подумав, что ошибся. Но нет. Банк заплатил ему номинальную сумму в марках, но курс марок упал так быстро, что реальная стоимость выплаты сократилась почти в половину.

Он остановился посреди улицы и на мгновение потерял равновесие, и ему пришлось опереться рукой о стену, чтобы не упасть. Ветер дул в лицо, но он не чувствовал холода. Он смотрел на конверт, сжимал его в руках, и думал о том, что Марта ждет его дома. Она будет спрашивать, сколько они получили. Она будет планировать покупки. Она будет верить, что все хорошо.

Он не мог сказать ей правду и не мог признаться, что их подушка безопасности тает, как снег на весеннем солнце. Отто решил спрятать конверт во внутренний карман пиджака и ничего не говорить. Он придет домой, улыбнется, скажет, что все в порядке, и сделает вид, что его мир не рушится.

Отто шел дальше, и каждый шаг давался ему с трудом, словно ноги приросли к земле. Он проходил мимо магазинов, витрины которых были украшены рождественскими

гирляндами, хотя до Рождества оставалось еще почти десять месяцев. Люди покупали вещи, которые им не были нужны, тратили деньги, которые завтра уже ничего не стоили. Они смеялись, пили кофе в кафе, обсуждали политику. Они не знали, что этот смех — последний. Или знали, и поэтому смеялись еще громче.

Он дошел до перекрестка и увидел толпу людей, собравшихся у банка. Они стояли в очереди, держа в руках сберегательные книжки. Они хотели снять свои сбережения, пока еще есть что снимать. Отто посмотрел на них и почувствовал холодный пот на спине. Он подумал о своей матери, которая когда-то давно, еще до войны, откладывала деньги на его образование. Она копила марки, верила в государство, в банк. Все эти деньги теперь ничего не стоили. Они превратились в пыль.

Он отвел взгляд и пошел дальше. Он не хотел видеть панику. Он не хотел признавать, что паника — это единственная разумная реакция на происходящее. Он шел домой, сжимая в кармане конверт, в котором лежали обещания, ставшие пустыми. Он шел к своей семье, к своей жене, которая смотрела на него с надеждой, и он не мог разбить эту надежду. Не сегодня.

Когда он вошел в квартиру, Марта встретила его у двери. На ней был тот же синий фартук, в котором она готовила. От нее пахло луком и тушеным мясом.

— Отто, — сказала она, и ее голос звучал тревожно. —

Что с тобой? Ты бледный. Ты заболел?

Он покачал головой и улыбнулся. Улыбка вышла натянутой, неестественной.

— Все хорошо, дорогая, — сказал он, снимая пальто. — Просто устал. Много работы.

Она посмотрела на него с подозрением, но не стала допытываться. Она повернулась и пошла на кухню, чтобы подавать ужин. Отто прошел в спальню и закрыл за собой дверь. Он вытащил конверт из кармана, посмотрел на него еще раз, и его рука задрожала. Он сжал конверт в кулак, смял его, и бросил на пол. Затем он сел на кровать, опустил голову на руки и закрыл глаза. Внутри него что-то ломалось, что-то, что он не мог назвать. Это была не просто тревога. Это было осознание того, что его мир, его правила, его убеждения — все это было иллюзией. И эта иллюзия рушилась, унося с собой все, что он любил.

Вечер опускался на Веллингдорф. Серые сумерки постепенно перетекали в ночь, и фонари, редкие и тусклые, зажигались с опозданием, разбрасывая желтые круги света на мокрой брусчатке. В комнате Греты было темно, но керосиновая лампа, которую она берегла, как зеницу ока, горела на столе, отбрасывая длинные, танцующие тени на стены.

Грета сидела на стуле, сжимая в руках пару золотых серег. Они были маленькими, изящными, с капельками янтаря — последнее, что осталось от ее матери, которая умерла в 1915

году, не дождавшись конца войны. Грета всегда хранила их как память. Она надевала их только по праздникам, когда хотела почувствовать себя женщиной, а не просто машиной для выживания.

Но сегодня она держала их в руках и знала, что должна отдать их перекупщику. Она слышала, что он покупает золото, серебро, любые ценности. Он давал за них продукты, а не деньги, потому что продукты не обесцениваются. Грета сидела и смотрела на серьги, и слезы текли по ее щекам. Но она не плакала от горя. Она плакала от бессилия. От понимания того, что она теряет последнюю ниточку, связывающую ее с прошлым, с ее матерью, с ее семьей.

— Мама, — услышала она голос Лизы. Дочь стояла в дверях, глядя на нее с тревогой. — Что ты делаешь?

Грета быстро вытерла слезы и спрятала серьги в карман.

— Ничего, — сказала она, стараясь улыбнуться. — Я просто думаю. Иди, ложись спать. Завтра рано вставать.

Лиза не сдвинулась с места. Она смотрела на мать с той взрослой серьезностью, которая пугала Грету. Она уже все понимала. Она видела, как мать уходит по ночам, как возвращается с продуктами, которых у них не было раньше. Она не спрашивала, но Грета знала, что дочь подозревает правду.

— Мама, — сказала Лиза, — у нас все будет хорошо?

Грета сглотнула. Она хотела ответить «да», но слова застряли в горле. Она не могла врать своей дочери. Она просто кивнула, и Лиза ушла, оставив ее одну с тяжестью на душе.

Грета встала, накинула шаль и вышла на улицу. Вечерний воздух был колючим, и звезды, редкие и бледные, мерцали над головой. Она пошла к переулку, где обычно стоял перекупщик. Он был известен в их районе, и многие женщины ходили к нему за помощью. Он был жестоким, циничным, но он давал еду. А еда была единственной валютой, которая не теряла свою цену.

Когда Грета подошла к переулку, она увидела его — низкорослого мужчину в поношенном кожаном пальто, с толстыми пальцами и хищными глазами. Он стоял у стены, курил вонючую сигарету и ждал клиентов.

— Госпожа Вайс, — сказал он, увидев ее. Его голос звучал как скрип несмазанной двери. — Я знал, что вы придете. Вы умная женщина. Вы понимаете, что деньги — это просто бумага. А я даю вам то, что действительно нужно.

Грета подошла к нему и вытащила из кармана серьги. Они блеснули в тусклом свете фонаря. Перекупщик взял их в руки, повертел, поднес к глазам. Его губы скривились в ухмылке.

— Хорошее золото, — сказал он. — Чистое. Янтарь тоже хороший. Я дам вам за них мешок картошки и немного сала. Идет?

Грета почувствовала, как у нее сжалось сердце. Она хотела сказать «нет». Она хотела вырвать серьги из его рук и убежать. Но она вспомнила голодные глаза своих детей, их тонкие руки и бледные лица. Она кивнула.

— Идет, — сказала она.

Перекупщик ухмыльнулся еще шире и протянул ей мешок. Грета взяла его, чувствуя тяжесть картошки, и повернулась, чтобы уйти.

— Умная женщина, госпожа Вайс, — сказал он ей вслед. — Деньги — это просто бумага. Вы это поняли быстрее многих.

Грета шла домой, сжимая мешок в руках. Она чувствовала, как в ее душе умирает что-то важное. Она не плакала. Она просто шла вперед, в темноту, оставляя позади себя последние остатки своей чести. Она знала, что эта ночь — лишь начало. Впереди будет много таких ночей, и каждая из них будет отнимать у нее по кусочку души. Но она продолжала идти, потому что другого выхода у нее не было.

Когда она вошла в комнату, дети уже спали. Она поставила мешок на пол и села на стул, глядя на их лица, освещенные лунным светом. Она смотрела на них и думала о том, как далеко она готова зайти ради них. Она думала о том, есть ли предел, который она не переступит. Она хотела верить, что есть. Но в глубине души она знала, что предела нет. Когда ты борешься за выживание, все границы стираются, и остается только один инстинкт — жить. И этот инстинкт не знает сострадания.

Часть II: Адский карнавал

Глава 3: Валютный зверь

Июль 1922 года. Берлин задыхался от зноя. Воздух над раскаленной брусчаткой дрожал и струился, превращая улицы в огромные печи. Жара смешивалась с запахом пота, выхлопных газов редких автомобилей и гниющих отбросов, которые никто не вывозил уже третью неделю — муниципальные службы не справлялись, мусорщикам платили бумажками, которые за время их смены теряли половину стоимости.

Отто Хартманн стоял у окна своего кабинета в банке и смотрел на толпу, собравшуюся у входа. Люди прибывали с самого утра — служащие, рабочие, домохозяйки. Они сжимали в руках сберегательные книжки, конверты с зарплатой, облигации. Их лица были одинаковыми — бледные, глаза, широко раскрытые, с зрачками, расширенными от страха, который не проходил. В этой толпе не было ни одного человека, который не знал бы, что его деньги тают с каждым ударом сердца.

Дверь кабинета открылась, и вошел молодой клерк, по имени Шмидт, с мокрыми от пота волосами и дрожащими руками. Он нес в руках стопку бумаг, но его глаза бегали по комнате, словно он искал выход.

— Господин Хартманн, — начал он, — там, внизу... люди

требуют обналичить счета. Они говорят, что, если мы не выдадим им деньги сейчас, они не смогут купить еду вечером. Цены выросли на тридцать процентов за сегодняшнее утро.

Отто медленно повернулся от окна. Он чувствовал, как рубашка прилипает к спине, а воротник натирает шею. Он хотел сказать что-то успокаивающее, что-то, что вернуло бы порядок в этот безумный мир. Но слова застряли в горле.

— Им нужно подождать, — сказал он, и его голос прозвучал хрипло. — У нас есть процедура. Мы не можем выдать всем наличные сразу. Это... это неразумно.

Шмидт покачал головой, и в его глазах мелькнуло отчаяние.

— Господин Хартманн, они не будут ждать. Я видел, как женщина упала в обморок в очереди. Ее муж держал ее на руках и кричал, что, если они не получают деньги сегодня, их дети умрут с голоду. Они не понимают процедур. Они хотят жить.

Отто сжал челюсти. Он хотел сказать, что процедуры существуют для порядка. Что если все начнут снимать деньги одновременно, банк рухнет. Но он понимал, что это уже не аргумент. Они не в том мире, где процедуры имели смысл. Они в мире, где люди бегут за своими обещаниями, прежде чем те превратятся в прах.

— Иди, — сказал он Шмидту. — Скажи им, что мы открываем кассы на час раньше. Мы выдадим им наличные по счетам. Но им нужно... им нужно понять, что мы делаем все

ВОЗМОЖНОЕ.

Шмидт кивнул и выбежал из кабинета. Отто снова повернулся к окну. Внизу, у входа в банк, толпа все росла. Он видел лица — измученные, потные, с глазами, полными надежды и страха одновременно. Он чувствовал себя зрителем в театре абсурда, где каждое действие было бессмысленным, но неизбежным.

Он вспомнил утро. Марта приготовила ему завтрак — кофе с цикорием и кусок черствого хлеба с тонким слоем масла. Она сказала, что масло подорожало вдвое. Он не ответил. Он просто кивнул и вышел из дома, чувствуя, как его шаги становятся тяжелее с каждым днем. Он больше не говорил ей о деньгах. Он больше не говорил о будущем. Он просто жил от одного обеда до другого, от одной зарплаты до следующей, которая уже не имела значения.

Внизу раздался гул — толпа зашумела, задвигалась. Отто увидел, как открылись двери банка, и люди хлынули внутрь, толкая друг друга, сметая все на своем пути. Он смотрел на эту вакханалию и чувствовал, как внутри него что-то ломается. Это было не чувство, а отсутствие чувств — как будто его выскребли изнутри, оставив только оболочку, которая продолжала дышать по привычке.

Он отошел от окна и сел за стол. Перед ним лежали пачки марок. Он смотрел на них, и они казались ему просто кусками бумаги с красивыми рисунками. Он взял одну из них, поднес к свету. Водяные знаки, гравюры, сложные узоры. На

что ушла вся эта красота? Кто-то потратил часы, чтобы создать эту иллюзию ценности. А теперь она ничего не стоила. Ничего.

Он положил банкноту обратно на стол и закрыл глаза. В его голове звучали голоса — голоса людей в очереди, голос Шмидта, голос Марты. Все они говорили одно и то же: мир рушится. И он сидел здесь, в своем кабинете, и пытался сохранить порядок в том, что уже давно было хаосом. Он чувствовал себя смешным. Он чувствовал себя никчемным. И он не знал, как долго сможет еще притворяться, что все под контролем.

Грета стояла посреди своей комнаты, сжимая в руках старые газеты, которые лежали на столе. Ее дети играли на полу — они складывали стопки бумаги, которые Грета принесла домой с рынка, где их отдавали бесплатно как упаковочный материал. Лиза, старшая дочь, аккуратно вырезала из газетных полос длинные прямоугольники, складывала их в стопки и говорила:

— Это деньги. Смотри, Курт. Я покупаю у тебя этот карандаш. Вот тебе десять тысяч.

Курт, одиннадцатилетний, взял стопку бумаги и притворился, что рассматривает ее.

— Мало, — сказал он с серьезным лицом. — Цены выросли. Теперь карандаш стоит пятьдесят тысяч. Давай еще. Маленькая Эльза, которой было всего семь, сидела рядом

и смотрела на них с восторгом. Она тоже хотела играть, она тоже хотела быть частью этого странного мира, где все покупали и продавали, хотя у них не было ничего, кроме старых газет.

Грета смотрела на них, и внутри нее что-то сжималось. Она чувствовала, как ее сердце начинает биться быстрее, как руки начинают дрожать. Она видела, как ее дети играют в деньги, и в этом не было ничего смешного. Это было страшно. Это было похоже на то, как если бы они играли в похороны.

— Прекратите, — сказала она, и ее голос прозвучал резко, почти грубо.

Дети подняли головы, удивленные ее тоном. Лиза посмотрела на мать с недоумением.

— Мама, мы просто играем, — сказала она. — Мы просто...

— Это не деньги! — закричала Грета, и ее голос сорвался на визг. Она подошла к детям, вырвала у них стопки бумаги и скомкала их в руках. — Это мусор! Слышите меня? Это мусор! Деньги — это... это то, что дает нам еду. А это — ничто. Это просто бумага.

Дети замерли, глядя на нее с испугом. Лиза попыталась взять мать за руку.

— Мама, мы не хотели тебя расстраивать, — сказала она тихо. — Мы просто...

Грета отвернулась и прислонилась лбом к холодной сте-

не. Она чувствовала, как по щеке течет слеза. Она не хотела плакать при детях. Она не хотела показывать им свой страх. Но она не могла больше сдерживаться. Это был уже не просто страх. Это было отчаяние, смешанное с яростью.

Она вспомнила вчерашний день, когда она пошла на рынок с деньгами, которые заработала за неделю. Она взяла с собой полную корзину денег — бумажные пачки, навязанные бечевкой. Она думала, что их хватит на неделю продуктов. Но когда она пришла в лавку, продавец сказал ей, что хлеб подорожал еще в два раза. Она стояла у прилавка, сжимая в руках свои деньги, и чувствовала, как они тают, как снег в ладонях.

— Что мне делать? — спросила она продавца. — У меня больше нет денег.

Продавец пожал плечами. Его лицо было равнодушным, как у человека, который привык к этому аду.

— Госпожа, — сказал он, — я не могу вам помочь. Сегодня хлеб стоит столько. Завтра он будет стоять больше. Я не могу продать вам его дешевле, потому что завтра мне нечем будет платить поставщикам. Если у вас нет денег, идите в суповую кухню. Там дают бесплатный суп.

Грета стояла на улице, сжимая в руках корзину с деньгами, которые уже ничего не стоили, и чувствовала, как мир качнулся, и она схватилась за край прилавка, чувствуя, как ноги становятся ватными. Она вернулась домой с пустыми руками. Она сказала детям, что завтра они пойдут в суповую

кухню. Она не сказала им, что это унижение. Она не сказала им, что она чувствует себя предательницей, потому что не может накормить их.

Теперь она стояла здесь, в своей комнате, и смотрела на газетные деньги, разбросанные по полу. Она подошла к столу и села на стул. Ее руки дрожали. Она взяла одну из газетных полос, посмотрела на нее. Там был напечатан курс доллара. Он был таким высоким, что цифры казались бесконечными.

— Я не знаю, что делать, — прошептала она. — Я не знаю, как жить дальше.

Лиза подошла к ней, обняла ее за плечи и прижалась головой к ее груди.

— Все будет хорошо, мама, — сказала она, и ее голос звучал спокойно, как у взрослой женщины. — Мы выживем. Мы всегда выживаем.

Грета обняла дочь в ответ. Она не верила ее словам. Она не верила, что все будет хорошо. Но она знала, что должна продолжать бороться. Ради них. Ради детей, которые смотрели на нее с надеждой.

В конференц-зале министерства было душно. Высокие окна были открыты, но в них не проникало ни дуновения ветра — только зной, который плавил воздух и делал его тяжелым, как свинец. За столом заседания сидели министры, советники и представители Рейхсбанка. На их лицах не было ни улыбок, ни хотя бы признаков спокойствия. Они смотре-

ли на стопки бумаг, лежащие перед ними, и их руки дрожали.

Фридрих фон Райхенбах сидел во главе стола. Его лицо было бледным, под глазами залегли темные круги, но осанка оставалась безупречной. На нем был черный сюртук, который он не снимал уже двое суток, и, хотя ткань помялась и пропиталась потом, он держался так, как будто это была официальная церемония.

Один из министров, пожилой, с седыми бакенбардами, встал из-за стола и ударил ладонью по поверхности. Его голос дрожал от гнева.

— Господа, мы не можем продолжать в том же духе! Курс доллара упал до семи тысяч марок. Семь тысяч! Еще в прошлом месяце мы могли бы купить на это состояние. Теперь это — стоимость буханки хлеба. Мы должны остановить печатный станок. Мы должны сделать что-то, чтобы остановить этот хаос!

Фридрих медленно поднял глаза на говорившего. Его лицо было бесстрастным, как маска. Он не повысил голоса, но в его тишине слышалась тяжелая, негибкая воля.

— Остановить печатный станок, — повторил он. Его голос звучал ровно, почти монотонно. — И что тогда? Вы предлагаете нам остановить выплаты зарплат чиновникам? Полицейским, солдатам, учителям? Вы предлагаете нам сказать им, что у нас нет денег, потому что мы перестали их печатать?

Министр сжал кулаки.

— Но это безумие! Мы печатаем деньги, которые ничего не стоят. Мы создаем иллюзию, которая убивает людей. Инфляция уничтожает средний класс. Она уничтожает наши сбережения, наши надежды, наше будущее. Мы не можем просто сидеть и смотреть, как это происходит.

Фридрих встал из-за стола. Его глаза загорелись холодным, стальным огнем. Он обошел стол и подошел к министру.

— Знаете, что произойдет, если мы остановим печатный станок? — спросил он, и в его голосе зазвучала сталь. — Мы не сможем платить зарплату. Чиновники не смогут купить хлеб. Полицейские не смогут работать. Начнется революция. Голодные бунты. Улицы залиются кровью. Вы этого хотите?

Министр опустил глаза. Он не мог спорить. Он знал, что Фридрих прав. Он знал, что, если остановить печатный станок, мир рухнет еще быстрее. Но продолжать печатать — это было медленное самоубийство.

Фридрих вернулся на свое место и сел. Он обвел взглядом присутствующих.

— Я беру на себя инициативу, — сказал он. — Мы продолжим эмиссию. Мы будем печатать столько денег, сколько потребуется для выплат. Мы будем платить зарплату. Мы будем делать все, чтобы сохранить государство. А когда наступит момент, мы введем новую валюту. Но это произойдет не раньше, чем мы погасим наши долги. Да, это будет больно. Да, люди пострадают. Но лучше потерять деньги, чем по-

терять страну.

Он замолчал. В комнате повисла тяжелая, звенящая тишина. Никто не осмелился возразить. Фридрих знал, что он победил. Он знал, что его план — жестокий и циничный — был единственным возможным вариантом. Он чувствовал, как в нем нарастает странное спокойствие — холодное, как лед, и пустое, как ночное небо.

Он взял перо и подписал приказ об увеличении эмиссии. Его рука была твердой, почти механической. Он поставил свою подпись под текстом, который обрекал миллионы людей на голод и нищету. И он не чувствовал ничего.

Кафе на Фридрихштрассе было переполнено. За столиками сидели люди в поношенных костюмах и шляпах, которые уже вышли из моды. Они пили кофе и обсуждали цены. Голоса звучали громко, тревожно, и в этом шуме отчетливо слышалась одна и та же тема: инфляция.

Отто сидел за маленьким столиком в углу. Перед ним стояла чашка кофе — черная, горькая, которую он заказал, когда вошел. Он не хотел пить. Он просто хотел посидеть здесь, подальше от банка, от толп, от цифр, которые сводили его с ума.

Он подозвал официанта. Молодой парень в поношенном фраке, с уставшими глазами и дрожащими руками.

— Сколько за кофе? — спросил Отто, доставая кошелек. Официант замялся. Он посмотрел на меню, которое ле-

жало на столике, потом на Отто.

— Три тысячи марок, господин, — сказал он, и его голос звучал смущенно, почти виновато.

Отто замер. Его рука, уже тянувшаяся к кошельку, остановилась в воздухе. Он посмотрел на меню. Там было написано: «Кофе — 1500 марок». Он поднял глаза на официанта.

— В меню написано полторы тысячи, — сказал он, стараясь, чтобы его голос звучал спокойно.

Официант покачал головой. Его лицо стало еще более бледным.

— Простите, господин, — сказал он. — Меню напечатано утром. Но цены уже выросли. Сегодня в два часа пришло новое распоряжение. Теперь кофе стоит три тысячи. Я не могу продать его дешевле. Хозяин сам ездил на рынок за зернами сегодня утром, и они обошлись ему в два раза дороже, чем вчера.

Отто сжал кулаки. Он чувствовал, как в нем поднимается гнев. Он хотел закричать, сказать официанту, что это безумие, что нельзя так делать, что это воровство. Но он знал, что официант не виноват. Он просто выполнял свою работу. Весь мир был безумным, а он, Отто, просто пытался найти в этом хаосе хоть какое-то подобие порядка.

— Три тысячи, — повторил он и вытащил из кошелька банкноты. Он пересчитал их, чувствуя, как его пальцы становятся тяжелыми и неуклюжими. — Три тысячи. Возьмите.

Он протянул деньги официанту. Тот взял их, кивнул и

ушел. Отто остался сидеть за столиком, глядя на чашку кофе. Он взял ее в руки. Она была горячей, почти обжигающей. Он поднес ее к губам и сделал глоток. Кофе был горьким, но он чувствовал только холод в груди.

Он сидел и смотрел на других людей за столиками. Они платили и платили, и их деньги таяли быстрее, чем они успевали их тратить. Он вспомнил слова официанта: «Меняйте ваши марки каждые полчаса, господин». Он не мог больше так жить. Он не мог больше бороться с чем-то, что не имело правил.

Он допил кофе, встал, оставил на столе чаевые — еще тысячу марок, которые уже ничего не значили — и вышел на улицу. Солнце слепило глаза. Он стоял на тротуаре и смотрел на прохожих. Они бежали, спешили, торговались, покупали, продавали. Они пытались выжить. И он знал, что большинство из них проиграют. Он знал, что и он сам, вероятно, тоже проиграет. Но он не мог остановиться. Он не мог признать свое поражение.

Он пошел в сторону дома, оставляя позади кафе, официанта, кофе, который стоил больше, чем его дневной заработок. Он шел и думал о том, что завтра его ждет еще один день борьбы. И еще один. И еще. Пока не останется ничего, кроме пустоты.

Ночь опустилась на Веллингдорф. В своей комнате Грета сидела у стола, глядя на пустую тарелку. Она не могла уснуть.

Ее глаза горели, голова раскалывалась от боли, а сердце билось так часто, что она чувствовала его удары в висках.

Накануне она заметила соседку, вдову учителя, которая жила этажом ниже. Соседка была старой женщиной, с седыми волосами и дрожащими руками. Она всегда носила аккуратные платья и говорила с достоинством, даже когда ей нечего было есть. Сегодня Грета видела, как она выносила свои книги на улицу и продавала их прохожим. Тонкие томики в кожаных переплетах. Гете, Шиллер, Гейне — все то, что когда-то было сокровищем, теперь продавалось за мешок картошки или за пару буханок хлеба.

Грета смотрела на свою соседку из окна и видела, как ее руки дрожат, когда она протягивает книги покупателю. Ее глаза, которые уже ничего не видели, даже когда она смотрела прямо на тебя или на людей на этой улице. Грета знала, что соседка скоро умрет. От голода, от болезней, от отчаяния. Она не могла помочь ей. Она не могла помочь никому, кроме себя и своих детей.

Она посмотрела на своих детей, спящих на кровати. Лиза, Курт и маленькая Эльза. Они спали, прижавшись друг к другу, и их лица были спокойными, почти безмятежными. Они не знали, что их мать сегодня не купила хлеба. Они не знали, что завтра их ждет голод. Они верили, что все будет хорошо, потому что она сказала им так.

Грета встала из-за стола и подошла к шкафу. Она открыла дверцу и посмотрела на свои вещи. Единственное платье, ко-

торое она носила в церковь. Старое пальто, которое когда-то принадлежало ее матери. Она знала, что все эти вещи ничего не стоят. Их нельзя продать. Их нельзя обменять на еду. У нее было только одно, что имело ценность — это ее руки. И ее способность работать.

Она села на стул и начала шить. Ее пальцы двигались автоматически, прокалывая ткань, вдевая нитку. Она шила платье для богатой клиентки из соседнего района. Ей заплатили за работу продуктами — куском масла и мукой. Она сделала это. Она переступила черту. Она больше не была просто швеей. Она была частью теневой экономики.

Она смотрела на свои руки, сжимающие иглу, и чувствовала, как внутри нее что-то меняется. Страх уступал место холоду. Холод — прагматичному расчету. Она больше не думала о морали. Она думала только о выживании.

— Я не хочу быть доброй, — прошептала она в темноту.
— Я хочу жить.

Она работала до утра, не останавливаясь, пока не закончила платье. Когда первые лучи солнца проникли в комнату, она встала, сложила работу и положила ее в сумку. Она вышла на улицу, чтобы отнести платье клиентке. По дороге она прошла мимо дома соседки. Из открытого окна доносился запах гниющих овощей и сырости. Грета заглянула внутрь и увидела соседку, сидящую на стуле. Она смотрела в стену пустым взглядом. Ее руки лежали на коленях. Книги закончились. Еды не было. Грета знала, что эта женщина умрет.

Она знала, что ничего не может сделать.

Она пошла дальше. Она не чувствовала ничего. Ни жалости, ни стыда, ни боли. Только глухую, животную потребность идти вперед, пока ноги не откажут. Она сделает все, чтобы выжить. Все, что потребуется. Даже если это значит, что она должна закрыть глаза на страдания других. Она больше не могла позволить себе быть человеком. Человечность была роскошью, которую она не могла себе позволить.

Глава 4: Золотой рот

Осень 1922 года опустилась на Берлин, как саван. Небо, серое и низкое, давило на крыши, и дожди, мелкие, колючие, лили с утра до ночи, превращая улицы в грязные потоки. Вода стекала по водосточным трубам, журчала в сточных канавах, и этот звук смешивался с шумом толпы, которая каждый день собиралась у обменных пунктов, чтобы попытаться спасти свои обесценивающиеся марки.

Отто Хартманн сидел в темноте своей комнаты и смотрел на карманные часы, которые лежали на столе перед ним. Они были старыми, с гравировкой на крышке — инициалы его отца, дата 1898 года. Серебряный корпус, позолоченный механизм, маятник, который тикал с удивительной точностью, несмотря на годы, проведенные в кармане. Эти часы были единственным, что осталось от отца, который умер в 1914 году, как только началась война. Он носил их на цепочке, пристегнутой к жилету, и когда Отто был ребенком, он любил слушать, как они тикают, прижимаясь ухом к груди отца.

Теперь часы лежали перед ним, и он знал, что должен их продать.

Он встал из-за стола и подошел к окну. Дождь стучал по стеклу, разбиваясь на тысячи капель, которые стекали вниз, как слезы. Отто смотрел на улицу. Люди спешили, укрываясь от дождя под зонтами и газетами, но в их движениях не

было той суеты, которая была раньше. Теперь они двигались медленно, устало, словно каждый шаг давался им с трудом. Они знали, что их ждет. Они знали, что завтра будет хуже, чем сегодня, и поэтому они не спешили.

Отто повернулся к столу и взял часы в руки. Они были тяжелыми, холодными. Он открыл крышку и посмотрел на циферблат. Стрелки показывали половину одиннадцатого. Он знал, что время уходит. Он знал, что с каждым часом его деньги становятся все более бесполезными.

— Прости, отец, — прошептал он, обращаясь к пустоте. — Я не хочу этого делать. Но у меня нет выбора.

Он спрятал часы в карман пальто и вышел из квартиры. Марта была на кухне, она что-то готовила, и он не сказал ей, куда идет. Он не мог ей сказать. Она бы спросила, зачем ему продавать часы. Она бы сказала, что они нужны ему, что это память. Но память не кормит. Память не платит за квартиру.

Он спустился по лестнице и вышел на улицу. Холодный ветер ударил в лицо, и он натянул шляпу на глаза. Он шел к центру, где на Фридрихштрассе, в маленьком переулке за углом, стоял меняла по прозвищу Золотой Рот. Он был известен всем, кто искал твердую валюту или пытался продать ценности. Говорили, что он никогда не обманывает, потому что его бизнес строится на репутации. Но его цена всегда была безжалостной.

Когда Отто добрался до переулка, он увидел менялу. Это был маленький, лысый человек в поношенном, но дорогом

пальто. Он стоял под навесом, курил сигару и перебирал монеты в руке. Его глаза, узкие и внимательные, сканировали каждого прохожего.

— Господин Хартманн, — сказал он, увидев Отто, и его голос звучал как скрежет металла. — Я знал, что вы придете. Все приходят. Рано или поздно все приходят.

Отто подошел к нему и вытащил из кармана часы. Он протянул их Золотому Рту, и тот взял их в руки, поднес к свету, открыл крышку, посмотрел на механизм, на гравировку.

— Хорошие часы, — сказал он, и в его голосе не было восхищения, только констатация факта. — Серебро, золочение, немецкая работа. Ваш отец знал толк в вещах.

— Сколько? — спросил Отто, стараясь не выдать голосом дрожи.

Золотой Рот посмотрел на него, и в его глазах мелькнула усмешка. Он покачал головой, словно сожалея о том, что должен сказать.

— Пятьдесят долларов, — сказал он.

Отто замер. Его сердце пропустило удар. Пятьдесят долларов. Он знал, что это немного, что часы стоят больше, но он также знал, что курс доллара растет каждый день, и что завтра он сможет купить на эти пятьдесят долларов больше, чем на тысячу марок.

— Пятьдесят долларов, — повторил он, и его голос сорвался. — Это все?

— Это все, — ответил меняла. — Вы можете не прода-

вать. Но завтра я дам вам только сорок. Марка падает. Доллар растет. Через неделю эти пятьдесят долларов будут стоить в марках больше, чем вся ваша квартира. Так что решайте. Я не жду.

Отто сжал челюсти. Он смотрел на часы в руках менялы и чувствовал, как его душа разрывается на части. Он вспоминал отца, его руки, его голос. Он вспоминал, как он брал эти часы, когда уезжал в армию, и говорил: «Сын, они будут напоминать тебе о доме». Теперь они станут просто еще одним товаром.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.